

Макс Бременер  
ДОСТОЙНЕЙШИЙ

I

Я был учеником шестого класса и членом исторического кружка. Быть учеником шестого класса мне полагалось по возрасту, поэтому гордиться тут было нечем. А тем, что занимаюсь в историческом кружке, я гордился по праву: вся школа знала, что членом его может состоять лишь тот, кто «пытлив и деятелен в одно и то же время», как говорил наш руководитель Прокофий Семенович.

По-видимому, во мне сочетались оба достоинства. Я постоянно помнил об этом. Мне казалось, что все ребята также об этом помнят. Когда я шел по коридору в класс мимо секретничавших о чем-то девочек, мне слышалось, будто они шепчут вслед: «Это Миша из шестого «Б». Вот парень! Пытлив и деятелен...»

И я окидывал незнакомых девочек и мальчиков пронзительно-проницательным взглядом и удалялся энергичной, пружинистой походкой, как подобало, по моему мнению, исследователю и путешественнику.

Впрочем, путешественником мне только еще предстояло стать. Через две с половиной недели я впервые в жизни должен был отправиться в поход. Мы собирались поездом доехать до Керчи, морем добраться до Феодосии, из Феодосии на автобусе прикатить в Ялту, затем пешком пройти по южному берегу Крыма...

Вообще говоря, в ту пору мы грезили полярными экспедициями.

Четвероклассниками мы каждый день читали в газетах прежде всего о Папанине, Кренкеле, Ширшове и Фёдорове, которые первыми высадились на Северном полюсе и дрейфовали на льдине долгие месяцы.

Еще раньше – мы не читали тогда газет, но это было на нашей памяти – полярные летчики спасали героев, оказавшихся на ломкой льдине, после того как «Челюскин», сжатый тяжелыми торосами Ледовитого океана, потерпел аварию.

Наконец, совсем недавно, не на шутку взволнованные, мы следили за дрейфом «Седова», вмерзшего во льды.

Мы гордились нашими полярными исследователями и тревожились за них. Сейчас даже кажется, что гордились и тревожились все детство напролет, беспрестанно, не зная пауз... Прокофий Семенович первым объяснил нам, что исследователем можно быть не только на Севере. В течение зимы мы до мелких подробностей разработали с ним будущий маршрут. Так поступал всегда Прокофий Семенович: зимой он с кружковцами пускался в воображаемое путешествие, а летом по тому же маршруту, знакомому по книгам и картам, отправлялся уже в настоящее путешествие. И вот от этого настоящего путешествия, путешествия наяву, меня отделяли лишь две недели, которые казались мне, однако, тогда толщей времени.

Дело в том, что за две недели нужно было сдать весенние экзамены. А тот, кто получил бы на каком-нибудь экзамене «посредственно», путешественником стать не мог. Так было у нас заведено не знаю с каких пор. Отбирали, по выражению Прокофия Семеновича, «достоинейших из достойных».

Я жгуче, прямо-таки изнурительно желал стать достойнейшим. Желание это стучало мне в сердце даже во сне. Я не отдыхал от него ни часа в сутки. Каждый экзамен я сдавал один раз наяву и, наверно, трижды во сне. Наяву учителя ставили мне «отлично», а во сне – «очень плохо». Память моя хранила «провалы» во сне наравне с дневными достижениями, и, сдав три экзамена, я выглядел так, точно сдал их уже десяток.

Последним экзаменом (или испытанием, как это тогда называлось) была алгебра. Я знал алгебру. Математик ставил мне в течение года то «хорошо», то «отлично», укоряя только за то, что я несколько рассеян. Сейчас он встретил нас в дверях класса спокойной улыбкой. Мы расселись по партам. На доске, разделенной надвое белой чертой, безукоризненными, как в букваре, буквами были выписаны условия двух задач. На левой стороне доски – для тех, кто за партой сидит слева, на правой – для их соседей. Я прочитал задачу на левой стороне доски. Впрочем, неверно сказать прочитал – читают от начала и до конца. А тут пять меловых строчек не одна за другой, а все разом оттиснулись в моем сознании, как весь и тотчас отражается в зеркале предмет, поставленный перед ним. И мгновенно же я понял, что задача очень легкая! Настолько легкая, что я мигом согрелся (минуту назад я покрылся гусиной кожей от прикосновения к холодной крышке парты). Настолько, что не стоило спешить (десять раз решить успею). Ощущая полное и блаженное спокойствие, я даже поинтересовался задачей справа, которую не мне предстояло решать. И она тоже была простая. Значит, всем хорошо! Неторопливо оглядевшись по сторонам, я придвинул к себе листок бумаги. Собственно, можно бы решить задачу сразу набело. Но полагается сперва написать черновик. Что ж, решим сначала на черновике. Все равно время девать некуда... Так, первый вопрос, второй, третий, четвертый... Я растягивал время, чтоб не решить чересчур быстро. К чему высказывать первым? А потому, отрываясь от листка бумаги, я смотрел то в окно – скучающе, то на учителя и ассистента – спокойно и независимо, то на глубоко задумавшихся товарищей – жалеючи и чуть свысока. Потом мне надоело вдруг канителить: меня потянуло на улицу, где солнце, где счастливицы – отсюда слышно! – стучат волейбольным мячом, где меня встретят поздравлениями – семиклассник! И, больше уже не мешкая, я применил формулу, начал решать, решил буквенно, принялся за вычисления... Вот тут-то, когда я стал вычислять, моя уверенность не то чтобы исчезла, а перестала быть безоблачной. Дело в том, что цифры как-то неохотно делились. Говоря точнее, они были неподатливы. Когда я нажимал, они дробились. У меня на каждом шагу получались дроби с четырехзначными цифрами в числителе и в знаменателе. Это было странно. Как если б человек желал расколоть свои поленца надвое, а раскалывал всякий раз в бесчисленные щепки.

Впрочем, все еще могло кончиться хорошо. Лишь бы получилось в результате целое число, пусть с небольшой дробью. Произвел последнее действие, и вот передо мною ответ: громоздкая дробь, целые строчки цифр внизу и наверху. Таких ответов на школьные, тем более экзаменационные, задачи не бывает!

Не бывает! У меня быстро заколотилось сердце и суматошно, бестолково заметалась из стороны в сторону мысль. Но я взял себя в руки и стал медленно, нарочито медленно снова обдумывать задачу. И, ища ошибку в подсчетах, словно бы со стороны прислушивался к двум скоростям в себе самом: к медленному, подвластному мне движению мысли и бедовому, ничуть не затихающему биению сердца... Но вот подсчеты проверены все, и ошибки в них нет. Значит, напутал я не в подсчетах. В самом решении?... Заставляю себя снова, от начала до конца, прочитать задачу, как будто такую ясную. И, после того как в очередной раз я перечитываю знакомые строчки, меня осеняет! Нет, я не обнаруживаю в задаче какой-либо сложности, раньше ускользавшей от внимания. Ничего подобного! Просто я вижу, что применил не ту формулу, которую – теперь вспоминаю! – решил применить, едва прочитав на доске задачу. Думал про одну формулу, а на бумаге написал другую... Угораздило! Придется начинать все с самого начала.

У меня еще оставалось время, чтобы сделать все наново.

Но тут открылось самое ужасное: я позабыл нужную формулу. Это было настолько невероятно, что я испугался – может, вообще потерял память? Может быть, я вообще ничего и ни о чем больше не знаю?.. Я стал лихорадочно рыться в памяти, как человек, обнаруживший, придя домой, одну пропажу, бросается проверять, на месте ли прочие ценные вещи.

Перескакивая с предмета на предмет, я убедился, что помню даты Пунических войн, закон Архимеда, годы рождения и смерти Пушкина, теорему о треугольниках и строение лютика, представителя семейства лютиковых. Немного успокоенный, я продолжал себя экзаменовывать и установил, что помню также ход битвы при Каннах, длину Миссисипи с притоком Миссури, стихотворение на немецком языке, под названием «Wir bauen», формы и степени глаголов и даже четверостишие, напечатанное петитом в учебнике геометрии и помогающее заучить величину  $\Pi$  с точностью до одной миллионной. Словом, в хранилище моей памяти оказалось множество необходимых, но совершенно бесполезных в ту минуту сведений...

А формула?.. Ведь в последние дни я, страница за страницей, повторял все пройденное за год. И сейчас, перелистывая мысленно учебник, быстро нашел страницу, где была забытая формула. Я видел эту страницу, как если б она лежала передо мной: с чертежиком в верхнем углу, с типографским пятном внизу, с присохшим желтым лепестком (наверно, георгина), заложённым сюда прежним владельцем «Алгебры». Лепесток прикрывал первые буквы слов «абсцисса» и «следовательно»... Ну как же я мог забыть формулу, что была рядом?

Череду моих мыслей оборвал шум: мальчик и девочка одновременно вышли из-за парт и по двум проходам двинулись к столу учителя, неся перед собой чуть шелестящие сдвоенные тетрадные листки. Так же одновременно, как встали с мест, они протянули учителю – справа и слева – свои работы. Это были отличники. Сказав «до свиданья», они вышли из класса. У меня упало сердце. Два человека уже закончили работу, а я еще не начинал. И не могу начать. И буду еще полчаса бесцельно сидеть за партой и смотреть, как ребята один за другим сдадут работы, как постепенно опустеет класс. Тогда я подойду к математику и скажу, что не решил задачу. А до того на моих глазах все ребята до одного покинут класс, аккуратно прикроют за собой дверь, выбегут во двор, и нас разделит рубеж, который они взяли, я – нет...

Прошло еще пять минут, еще двое ребят покинули класс, и я подумал: «Сейчас тоже уйду. Сдам листочки с неправильным решением и уйду. Не могу больше сидеть здесь». Но только я собрался это сделать, как к столу учителя прошли цепочкой трое ребят, третий на секунду замешкался возле моей парты, и на коленях у меня очутился тетрадный листок. Взглянул – на нем было решение задачи!

Так в одно мгновение все счастливо переменялось. Времени у меня, правда, оставалось мало, но писать быстро, аккуратно и не суетясь я умел.

Я сдал работу в числе последних, спустя два дня уже знал, что мне поставили «отлично», а спустя четыре дня вместе с Прокофием Семеновичем и десятью членами кружка выехал поездом в Крым.

## II

И только в вагоне тронувшегося поезда я узнал, что Саша Тростянский с нами не едет, он не будет участвовать в путешествии по южному берегу.

О том, что не все члены кружка едут в Крым, было известно еще до отъезда.

Достойнейших, а не просто достойных отбирали в путешественники, между прочим, и

потому, что денег, ассигнованных школой и районным Домом пионеров, безусловно не хватило бы на большую группу. Это ни для кого не было тайной. Но то, что ни в одном из трех купе, занятых нами, не оказалось Саши Тростянского, меня очень удивило. Его участие в путешествии как-то само собой разумелось.

Саша Тростянский не был моим другом. Но я относился к нему с большим любопытством и уважением, хотя иногда чувствовал над ним свое превосходство.

За один только последний год Саша сам собрал радиоприемник и фотоувеличитель (я же был не силен в технике). Но даже не это внушало мне к нему уважение, другое: Саша не придавал своим достижениям никакого значения. Он не делал из них никакого события. Тростянский и лепил хорошо, даже, мне тогда казалось, очень хорошо, однако ему в голову не приходило показать свои пластилиновые фигурки в Доме пионеров, где с ребятами занимался настоящий скульптор. Когда я посоветовал ему это, он сказал:

– Там, наверно, ребята лучше меня лепят. Я ж просто так... Что тут такого!..

Лишь свое увлечение историей он, должно быть, считал серьезным, потому что вступил в кружок и изредка советовался о чем-либо с Прокофием Семеновичем. В таких случаях они прохаживались, бывало, по коридору, причем оба держали руки за спиной и оба слегка горбились.

Саша не робел перед Прокофием Семеновичем. Вообще же он был необыкновенно застенчив. Когда его вызывали отвечать и он знал урок, то, едва став лицом к притихшему, ожидающему классу, сразу так смущался, что половина знаний вылетала у него из головы. Учителя поэтому спрашивали его иногда после уроков, в пустом классе. В таких случаях он отвечал на «отлично». А в других случаях получал «хорошо», реже – «посредственно», и, пока он запинаясь и мямлил, я чувствовал над ним превосходство: даже выучив урок кое-как, я сумел бы ответить лучше...

– Прокофий Семенович, почему Саша Тростянский не поехал? – спросил я у нашего руководителя, который наливал себе в ту минуту чай из маленького дорожного термоса.

– Саша? Он получил на испытаниях две четверки. Конечно, на устных испытаниях. – Прокофий Семенович прихлебнул из кружечки. – Ну, и, как говорится, не прошел по конкурсу... Очень жаль.

– А если б я, допустим, получил на каком-нибудь испытании «плохо», тогда он поехал бы?

– Если б ты получил двойку? – повторил Прокофий Семенович неторопливо. (Я с волнением ждал его ответа.) – Да, в этом случае, вероятно, Саша был бы сейчас на твоём месте. Но так как здесь все-таки ты, а не он, возьми, Михаил, у старосты листок бумаги и напиши кратко, чем в первую голову тебя привлекает путешествие. Пусть об этом, Георгий, каждый напишет, – сказал Прокофий Семенович нашему старосте Жоре Масленникову. – Мы потом все листки вклеим в коллективный дневник.

Жора дал мне листок, я положил его на книжку, прикоснулся к нему отточенным карандашом, но не вывел и первой буквы: задумался...

Вагон покачивало, и кончик карандаша сам скользил по бумаге, вычерчивая тоненькую кривую. Мне вспомнилось, как Саша Тростянский объяснял, почему, отвечая урок, скупится на подробности:

«Ведь неудобно перед учителем – он же это все без меня прекрасно знает, скучно же ему, должно быть, когда я рассказываю...»

Сам я, отвечая, никогда не думал, интересно ли в это время учителю. Я стремился отвечать как можно лучше, и все. То, что учитель выслушивает одно и то же, быть может, в тысячный раз, даже не приходило мне в голову. И никому другому тоже. Одного только Сашу могло это смутить...

– Ты чего же не ешь? – спросил меня Жора Масленников. – Не знаешь что? Вот прочти для примера. – Он протянул мне веером несколько листов.

Я прочел:

«Меня больше всего радует то, что, путешествуя, можно будет познакомиться с большим числом исторических памятников времен греческой колонизации Черноморского побережья»... Больше ничего. Коротко и определенно. И подпись – Саша Тростянский. Этот неподдельно серьезный Сашин ответ привел меня в смятение. Я вдруг ясно понял то, о чем не задумывался ни в последние дни, ни раньше. Меня не интересовали в Крыму памятники времен греческой колонизации. Я мечтал увидеть море, горы, виноградники, кипарисы, пирамидальные тополя. Меня взяли в путешествие, но интересы мои были ничуть не научные. А Саша, которого интересовали следы греческого владычества на Черноморье, остался дома...

И мне стало совсем не по себе.

### III

Не могу подобрать других слов: каждый день путешествия был прекрасным и неповторимым. Но это не значит, что мне было очень хорошо в те дни. Это значит только, что я все время ясно себе представлял, как прекрасно было бы Саше на моем месте.

Мало сказать, что мысленно я легко и поминутно ставил его на свое место. Буквально на все я смотрел сначала своими глазами, а затем – не желая того, против воли – Сашиними глазами. Во всяком случае, я десятки раз чутко и мгновенно угадывал: здесь ему было бы очень интересно. Мне почти не интересно, а его бы отсюда не вытащить!..

Когда я в первый раз вошел в море (это было в Керчи) и почувствовал под ногами гладкое песчаное дно, окунулся в теплую, плотную, голубую воду, я завопил от радости, какой еще не испытывал, но тут же подумал: «А ведь это заслужил Саша»...

На склоне горы Митридат, где находилась, по всей вероятности, свалка древнего города, я вместе с другими ребятами рылся в черепках и обломках. Никто из нас никогда не видел такой огромной свалки, и неудивительно – в течение двух с половиной тысяч лет сюда свозили весь хлам со всей Пантикапеи! Поистине мы пришли на мусорную свалку истории. (Во всяком случае, потом, читая в газетах, что какой-либо деятель выброшен на мусорную свалку истории, я всегда вспоминал пантикапейскую свалку.) Там я нашел красный осколок амфоры с изображением черной головы козленка (на осколке было, впрочем, лишь полголовы), перехватил завидующий взгляд Жоры Масленникова и сейчас же подумал о том, как порадовала бы Сашу эта находка, к которой я довольно равнодушен...

Когда в Камыш-Буруне, на месте раскопок древнегреческой колонии Тиритаки, Прокофий Семенович рассказывал нам о рыбном промысле колонистов, я опять вспоминал Сашу. Он фотографировал бы цементные рыбозасолочные ванны, так хорошо сохранившиеся в течение двух тысячелетий, и гончарную печь рядом с ними.

Конечно, и мне было любопытно узнать, как производился засол рыбы в античной древности (впрочем, я не знал и того, как это делают в теперешнее время). Но мне это было только любопытно, а ему – нужно. И его вряд ли беспокоило бы, как меня, что, задерживаясь возле древней винодельни, мы уже не успеем, наверно, сегодня выкупаться до ужина...

Да, я лишил Сашу не только многих приятных минут. Я понимал это и желал, чтоб у нашей туристской группы появились какие-нибудь невзгоды. Если уж мне досталось то,

что причиталось другому, пусть это будут не одни удовольствия и открытия незнаемого – пусть будут и тяготы!.. Чем больше тягот, тем реже тревожила бы меня совесть. Но невзгод и тягот не выпадало на нашу долю. И так же неотступно, как месяц назад мечтал о путешествии, я мечтал теперь о них. О пеших переходах под проливным дождем или палящим солнцем. О ночевках на скально-твердой земле... Но дни были ясными, пешие переходы – недолгими, и спали мы в постелях. Правда, случалось, что мы уставали за день, однако, честно говоря, это бывала приятная усталость. Старшие нас берегли.

#### IV

Мое беспокойство увеличивалось еще по одной причине: на неожиданные вопросы, которые нам изредка задавал Прокофий Семенович, я всякий раз отвечал не так, как хотел бы; как было бы приятно ответить; как подобало бы, наконец.

В самом начале путешествия наш руководитель очень переменялся.

Московский Прокофий Семенович был черноволос, белозуб, не сутул, а, скорее, строен, но казался все-таки старым. Кожа на его лице была желтоватой слегка обвисшей, и белые зубы, черные волосы только подчеркивали, делали заметнее изношенность лица. Точно так же, как твердость крахмального воротничка подчеркивала дряхлость шеи Прокофия Семеновича, а твердость белых манжет – желтизну и вялость его рук. Говорил он тихим, неизменно усталым голосом.

В Керчи я увидел совсем иного Прокофия Семеновича, ничем и ничуть не похожего на прежнего.

Кожа на его лице стала не желтоватой, а коричневой от загара. Шея, охваченная свободным воротником «апаш», оказалась крепкой. Он ходил в черных сатиновых шароварах, стянутых в талии резинкой, и с плоской флягой на боку. (Надев через плечо флягу на узеньком ремешке, он подтягивался, точно пристегнув портупею.) Говорил наш руководитель звучным и порой даже задиристым голосом.

Этим голосом он как раз и задавал нам свои неожиданные вопросы.

– Вы видите тень облачка на вершине этого тополя? – спрашивал Прокофий Семенович, когда мы шли к морю через городской сад.

Все добросовестно всматривались, замедляя шаги.

– Неужели вы не видите эту чуть сиреневатую тень... уа самой вершине?... – повторял он нетерпеливо.

Тут двое-трое ребят замечали наконец тень: «Да, действительно, вот». Другие молчали, но молчание их можно было понять так: «И мы заметили, но что ж об этом объявлять с опозданием?»

Только я, как ни задираю голову, не мог узреть на верхушке тополя ничего и с грустью сообщал об этом во всеуслышание...

– Вам не случалось видеть тень земного шара? – вскользь спрашивал Прокофий Семенович в другой раз, когда перед заходом солнца мы взобрались на Митридат.

Никто не отвечал утвердительно. Все были слегка ошеломлены.

– А когда и где ее можно видеть? – осведомился Жора Масленников, который во всех случаях был прежде всего пытливым человеком.

– В степи или в поле. Обыкновенно в августе. В предзакатный час на низких облаках вы замечаете вдруг огромную круглую тень. Это очень красиво. Пожалуй, величественнее, чем радуга. Никто не видел?... Даже не слышали, может быть?..

Те ребята, что первыми заметили на вершине тополя тень облачка, вспомнили, что в самом деле, был случай, видели на облаках огромную круглую тень. Но они не знали тогда, что

ее отбрасывает наша планета. Другие ребята вспомнили, что о таком явлении где-то читали.

Я же просто не слыхивал раньше о зрелище, «более величественном, чем радуга», и, страдая, признался в этом.

«Вероятно, Саша наблюдал это зрелище, – подумал я. – Возможно, он даже мог бы сейчас к словам Прокофия Семеновича что-нибудь добавить. Будь он на моем месте...»

В этот миг я почувствовал взгляд Прокофия Семеновича. С минуту он смотрел на меня заинтересованно и так, точно уверен был, что его интерес останется незамеченным, – очень загадочно, мне показалось.

V

И вдруг мысли о Саше отступили на второй план. Именно – вдруг.

Накануне Оля Бойко была для меня всего лишь одной из участниц путешествия. В школе она была старше меня на класс. Мы встречались только на занятиях кружка. Олю считали умной девочкой, меня – развитым мальчиком, но ни один из нас не обращал внимания на другого. Вероятно, нас считали также «пытливыми и деятельными» (в большей степени это могло относиться к Оле). Зимой, на сборе кружка, она выступила с докладом о положении женщин и детей в античной Греции.

Из гекзаметров поэта древности, нагонявших на меня тоску и сон, даже если я принимался за чтение утром, Оля извлекла множество очень конкретных сведений, на основании которых делала категорические выводы. При Агамемноне и Менелее не было детских садов, консультаций и яслей. Охрана материнства и младенчества была поставлена плохо.

Забывалось, что Оля опирается на «Илиаду». Казалось, пожалуй, что она побывала в древней Элладе с делегацией Красного Креста и Красного Полумесяца.

Об этом сказал Прокофий Семенович – и в похвалу и в порицание.

– Оля основательно потрудились, – заключил он, – но забыла, что поэтическое произведение для историка – источник особого рода.

После этого Оля еще немного поработала, и у нее получился уже совсем толковый доклад.

Итак, Оля Бойко была мне совершенно безразлична, когда наступила наша с нею очередь написать несколько страничек в коллективный дневник путешествия.

В тот вечер все мы сели на пароход, чтобы морем (как решили заранее) добраться до Феодосии. Ребята обосновались на палубе, причем успели занять скамейки на носу, а мы с Олей пошли в небольшой душноватый салон записывать впечатления дня.

– Ты будешь диктовать, а я – писать, ладно? – предложила она. – Так будет быстрее.

Мы сели друг против друга за столик с крышкой в шахматную клетку, и тут я впервые разглядел Олю. Лицо ее показалось мне вдруг необыкновенно милым. Она обмакнула перо в чернильницу-невывливайку, принесенную с собой, и деловитым жестом откинула за спину длинную косу. Потом она склонилась над чистой страницей толстой тетради, а коса ее, перевалившись через плечо, снова оказалась спереди. Оля опять чуть досадливым движением откинула ее за спину...

– Что ты так смотришь? – спросила она, подняв голову. – Ну, диктуй. Хочешь, просмотри записи за прошлые дни. На.

Я взял дневник путешествия, но, листая его, продолжал украдкой глядеть на Олю...

– «Этот день, как предыдущие, был богат новыми, яркими впечатлениями», – продиктовал я наконец, слегка видоизменив позавчерашнюю начальную фразу Жоры Масленникова.

Оля записала это прекрасным, слегка наклонным почерком.

Больше я не мог диктовать. Я не в силах был вспомнить, чем ознаменовался прошедший день. Я мечтал, бессвязно и одержимо.

Одна Оля сидела передо мной, задумчиво обводя чернилами заглавную букву, а другая вселилась в мое будущее. Разумеется, она становилась свидетельницей моих успехов.

...Прокофий Семенович хвалил меня за доклад (я не знал, о чем будет этот доклад), а Оля сидела рядом со мною.

...На большом собрании меня выдвинули в учком (воображение мое работало быстро), и Оля Бойко при том присутствовала.

...Учитель литературы вслух читал мое сочинение (неважно, на какую тему), а Оля с удовольствием слушала (чтобы это было возможно – ведь я был младше Оли на класс, – я поспешно придумал, что за будущее лето «перепрыгну» через класс и окажусь с Олей на одной парте).

...На моем дне рождения Оля долго со мной танцевала (пока что я не умел танцевать, но научиться очень просто). Мы медленно кружились, и она снизу преданно глядела мне в глаза (сейчас Оля немного выше меня, но года за два я, конечно, перерасту ее).

– Что же ты? – спросила Оля. – Надо ведь написать хоть страничку, а у нас всего полторы строчки. Диктуй, – сказала она нетерпеливо. – Или – хочешь? – ты опишешь первую половину дня, я – вторую. Так у нас получится быстрее.

Значит, она по-прежнему желала одного: поскорее уйти из салона на палубу!

Что ж!.. Недавно и я думал о том, чтоб, сделав запись в дневнике, немедля вернуться на палубу. Но как много произошло для меня за последние десять минут! А для Оли не произошло ничего...

– Ты опиши полдня, до обеда, – снова сказала она, должно быть не уверенная, что я как следует понял. – Дальше уж я сама.

Я кивнул, продолжая на нее глядеть.

– Что ты так смотришь? – спросила Оля, на этот раз слегка обеспокоенно. – И глаза у тебя отчего-то грустные... Хотя карие очень часто кажутся печальными, цвет такой, – пояснила она самой себе, раньше чем я что-либо ответил. И улыбнулась.

Потом я сидел, склонившись над листком бумаги, и без успеха силился вспомнить, что мы делали и где были в первую половину дня... Как на экзамене по алгебре, мне хотелось проверить, сохранилось ли в памяти хоть что-нибудь из того, что я раньше видел и знал.

В тот вечер – впервые за время путешествия – я ни разу не ставил мысленно Сашу на свое место (а это стало уже, помимо моей воли, привычкой). Ни разу не подумал: «Мне досталось то, что предназначалось ему». Может быть, оттого, что слова Оли о моих глазах не могли бы относиться ни к кому другому.

Вообще, когда Оля оказывалась рядом, в голове у меня вспыхивала, вытесняя все другие, одна мысль: стоит поднять глаза (повернуть голову), и я ее увижу.

Но чаще всего я не поднимал глаз и не поворачивал головы. Я боялся, что ребята будут подтрунивать и усмехаться. У всех было очень веселое настроение. За такой повод, конечно, ухватились бы (Жора Масленников уже один раз подмигнул мне, кивая на Олю). Мне нельзя было выдавать себя. Почему-то я твердо знал наперед, что буду совершенно беззащитен перед шутниками...

И тут настали лучшие дни путешествия.



Началось с того, что Прокофий Семенович разбил очки. Он выронил их, раздеваясь на берегу перед купанием, и ахнул:

– Беда!

Мы подбежали к нему.

– Теперь скорее на поиски оптика!

Даже не выкупавшись, Прокофий Семенович торопливо оделся, и мы поспешили в Ялту (беда стряслась на ливадийском пляже).

Однако ялтинский оптик не брался изготовить очки:

– Слишком сложный рецепт...

Тогда Прокофий Семенович позвонил по телефону в Москву, своей жене. Та пообещала немедля выслать ему запасную пару бандеролью или с оказией. Но пока что наш руководитель видел, по его словам, не дальше собственного носа.

– В поводе я, конечно, не нуждаюсь, – сказал он, – однако пара надежных молодых глаз мне до прибытия очков просто необходима. Михаил! – Он обнял меня за плечи. – Не откажешься?.. Послужат твои глаза нам обоим? Ну, тогда будешь эти дни возле меня. Не безотлучно, разумеется, это не требуется, но все-таки большую часть времени. Согласен? – Еще бы!

Я был необычайно изумлен и горд тем, что выбор Прокофия Семеновича пал на меня.

Ребята прямо рты раскрыли от неожиданности.

Ведь я не различал сиреневатой тени облачка на вершине тополя.

Я никогда не видел круглой тени земного шара на облаках в предзакатный час.

С холма Дарсан, господствующего над Ялтой, мой взгляд не достигал судов, причаливающих к Ливадийскому пирсу. (Мы установили это не далее как вчера.)

И все-таки моими глазами предпочел Прокофий Семенович глядеть на мир, лишившись очков!

Но почему?..

Я спросил. И наш руководитель мне ответил:

– Я предпочитаю глаза, которые видят только то, что действительно видят, – хорошее зрение, не поддающееся внушениям. Словом, глаза, которым не мнятся миражи.

– Так тени облачка на верхушке тополя... не было?! – догадался я.

– Не было? – прищурился Прокофий Семенович. – Ну, почему же. Была. Но секунду, не больше. Потом исчезла – облачко проплыло. И тут ее кое-какие наблюдатели разглядели... «Кое-какие наблюдатели» потупились.

Я совсем осмелел.

– Может, и тени земного шара никто никогда не видел?

– Никто и никогда? Это слишком сильно сказано. Один путешественник описал то, о чем я рассказал вам, в своих воспоминаниях – очень красочных, кстати. Но он имел обыкновение кое-что прибавлять, попросту – привирать. Так что... И, кроме того, его наблюдения относились не к тому полушарию, в котором обитаем мы с вами.

Быть глазами Прокофия Семеновича мне очень нравилось. По его просьбе я часто смотрел на то, на что сам не обращал и не обратил бы внимания. По нескольку раз в день он спрашивал меня, какого цвета море и небо; листва на конском каштане; иглы на итальянской сосне; водоросли на прибрежном камне.

Я научился различать оттенки цветов и узнал, что эти оттенки имеют названия. Мой словарь обогатился прилагательными «ультрамариновый», «бирюзовый», «лазурный».

Мне доставляло удовольствие щеголять ими...

Тоже часто Прокофий Семенович поручал мне взглянуть на кого-либо из ребят. То на Жору Масленникова – не бледен ли он? (Жора поднимался по утрам раньше всех, а

засыпал поздно); то на девочек – «не превращают ли они загар в самоцель», не шелушатся ли у них по этой причине плечи и носы?..

Носы шелушились почти у всех, и строгим голосом я просил девочек «знать меру».

Но самое главное, став «глазами» Прокофия Семеновича, я мог сколько угодно смотреть на Олю Бойко.

Я смотрел на нее не с праздным любопытством, пугающимся ответного взгляда, а со спокойной, откровенной пристальностью. И, когда Оля один раз спросила: «Что ты так смотришь?..» – я, не смутившись, ответил:

– По поручению Прокофия Семеновича.

По-видимому, Оля мне поверила. Это было хорошо. Но, может быть, по ее мнению, я был просто мал для того, чтобы глазеть на нее как-нибудь иначе, не по поручению? Такое опасение мелькнуло у меня, когда как-то вечером, на сборе туристической группы, Оля Бойко заботливо сказала:

– Мы забываем, ребята, что для младших участников путешествие утомительнее, чем для нас. Ведь ребятам такого возраста, как, например, Михаил, надо спать на целый час больше, чем Жоре или мне. А они ложатся и встают вместе с нами...

Если не считать этих слов Оли, то за дни, что я был «глазами» Прокофия Семеновича, мне не пришлось пережить неприятных моментов. Во всяком случае, никто из ребят не ехидничал, когда я смотрел на Олю, хотя я, бывало, не отрывал от нее глаз по несколько минут...

Но вот нашему руководителю прислали очки. К нему вернулось зрение – разумеется, это сразу стало всем известно, – а я не сразу отвык глазеть на Олю сколько вздумается. И буквально через два часа после того, как была получена бандероль с очками, Оля Бойко внезапно спросила меня:

– А сейчас ты тоже глядишь на меня «по поручению Прокофия Семеновича»?

– Сейчас – нет... – Я не знал, куда деваться.

– Неужели «сейчас – нет»? Да что ты! Думаешь, я не знала, что и раньше ты тоже не поручение выполнял? – Последнюю фразу Оля произнесла, слегка понизив голос.

– Да я вовсе... Да тебе Прокофий Семенович подтвердит...

– Перестань! – Оля махнула на меня рукой.

Мы шли по узенькой гурзуфской улочке. Только что мы побывали на развалинах древней Генуэзской крепости и теперь направлялись к автобусной остановке. Так как Оля замедлила шаг, другие ребята оказались далеко впереди нас.

– Перестань, – повторила Оля мягко. – Не надо притворяться. Ведь в тебе самое лучшее... в общем, как раз то и нравится (она не сказала – мне нравится), что ты ничего не умеешь скрывать. У тебя же все на лице написано. Ты же весь как на ладони!

– Далекое не все написано. Далекое не весь на ладони, – отвечал я самым интригующим тоном, на какой только был способен.

Я был в восторге оттого, что чем-то нравился Оле Бойко. И вместе с тем я не желал быть человеком, лишенным всякой таинственности.

– Так у тебя есть секреты!.. – воскликнула Оля, понизив голос, отчего ее восклицание особенно меня взволновало. – Ты мне откроешь, да?

И так захотелось доказать, что на лице у меня написано не все, так захотелось вдруг открыться девочке, говорившей со мной ласковым полупшепотом, что я взял и рассказал ей обо всем, что тяготило меня с первого дня путешествия.

Я подчеркнул, что выдержал экзамен лишь благодаря шпаргалке, что именно из-за меня не поехал в Крым Саша Тростянский.

Я был беспощаден к себе и даже преувеличивал. Утверждая, что у меня нет к путешествию научного интереса, а у Саши он был, я сказал, будто оставался равнодушным, когда мы осматривали царский курган. Это было уже чересчур.  
– И у тебя не замерло сердце, когда мы вошли в дромос? – поразилась Оля.  
– Нет.

Да, я себя не пожалел. Но и Оля меня не пожалела.

– Я знаю, что ты должен сделать, – живо сообразила она. – Тебе сразу станет легче.

– Что? От чего станет легче? – спросил я с надеждой.

– Оттого, что ты во всем признаешься Прокофию Семеновичу.

– Ты думаешь, от этого станет легче? – спросил я с некоторым разочарованием.

– Безусловно, – твердо ответила Оля. – Я об этом только недавно читала.

Несомненно, я почувствовал бы себя увереннее, если б Оля сослалась не на прочитанное, а на пережитое. Но, может быть, ей просто не случилось совершать проступки?..

– Хорошо, – решил я, – завтра расскажу Прокофию Семеновичу.

– Сегодня, Миша, – настойчиво сказала Оля. Возможно, она где-то читала, что признания в провинностях не следует откладывать на завтра. – И ляжешь спать уже с легким сердцем.

Чем-то мне не понравился этот разговор. (Должно быть, и тем, что Оля в ответ на мою откровенность лишь отослала меня к другому человеку, и тем, что Олин тон стал под конец чуточку наставительным.) Но Прокофию Семеновичу я все рассказал в тот же вечер. Наш руководитель выслушал меня и сказал:

– Очень и очень жаль, что Тростянский не поехал. Когда вкус к истории появляется так рано, как у Саши, особенно важно, чтоб человек не одними книгами питался, чтоб он, – Прокофий Семенович пошевелил пальцами, – осязал остатки материальной культуры прошлого. Ощупывал бы что можно. Поэтому нехорошо, что Саша не поехал. Досадно. Теперь о тебе, Михаил. В этом соревновании перед путешествием, в котором выявлялись «достоинейшие из достойных», ты участвовал не вполне честно. И переживаешь. И хорошо, что ты совестлив. Но не казнись теперь – думаю, случившееся поправимо. Будущим летом, коли до той поры доживу, возьму Сашу в путешествие непременно... Досадно, что Тростянский не с нами, и хорошо, что ты совестлив, – повторил он по привычке педагога делать из сказанного краткие выводы. Как предвидела Оля Бойко, я уснул с легким сердцем.

## VI

Последние дни пребывания на юге остались в памяти как совершенно беззаботные. Не помню поводов, по которым мы то и дело смеялись, но помню, что было очень весело. То, что Прокофий Семенович обещал взять Сашу в путешествие будущим летом, меня успокоило, и я включился в общее веселье.

Через несколько дней после нашего возвращения в Москву в школе был устроен вечер, на котором мы рассказывали о путешествии и читали отрывки из коллективного дневника. Послушать нас собралось довольно много ребят, и среди них Саша Тростянский. В перерыве я подошел к нему и сказал, что Прокофий Семенович собирается непременно взять его в путешествие в будущем году.

– Знаю, знаю, спасибо, – признательно закивал Саша.

Оказалось, что Прокофий Семенович уже сам сообщил ему об этом. Но он был рад, что и я спешу сообщить ему добрую весть.

– Знаю, спасибо, – сказал он еще раз.

– Не за что, – ответил я и снова почувствовал неловкость, от которой, казалось, избавился. Впрочем, через минуту это прошло.

И тут меня негромко окликнула Оля.

– Тростянский знает то, в чем ты признался нам с Прокофием Семеновичем? – спросила она, отведя меня в сторону.

Я покачал головой.

– Когда-нибудь узнает.

– Не когда-нибудь, а сегодня же, – возразила Оля с уже знакомой мне непреклонностью. – И ведь ты понимаешь, что будет лучше, если от тебя самого?..

Я понял, что ни обойтись без признания, ни отдалить его мне не удастся.

– Подойди к Тростянскому сейчас, – сказала Оля.

И я направился в другой конец школьного зала, где стоял Саша.

Оля следовала за мной на расстоянии двух шагов, но у меня было такое чувство, точно она на глазах у всех ведет меня за ухо...

– Саша, – начал я, набравшись духу, – ты хотел участвовать в путешествии, потому что твои научные интересы...

– Какие научные интересы... – перебил Саша со смущенной улыбкой. – Просто тянет странствовать – в крови у меня это. – Он по-прежнему улыбался.

– Почему – в крови? – спросила Оля с любопытством.

– Не знаешь? У меня дед был странник, бродяга. Где только он не ходил, не кочевал! Всюду был.

– Твой дед был бродяга? – удивленно переспросила Оля.

– Родной дед. Папин папа, – подтвердил Саша. – Вот то-то и оно. Чем плохо мне было этим летом в лагере жить? А тянуло бродить, колесить. Ну, в будущем году...

О том, что Сашин дед исходил некогда чуть ли не пол-России, я знал и раньше, но впервые я слышал, что по этой причине Сашу тянет путешествовать. Впрочем, скорее всего он сказал так из скромности, чтобы я перестал говорить о его научных интересах.

Между тем Оля, сблизив брови, что-то соображала. И, раньше чем я снова раскрыл рот, она потянула меня за рукав.

– Пожалуй, Тростянскому и не надо было участвовать в нашем путешествии, – вдруг сказала она, когда мы отошли от Саши.

– Почему? – поразился я.

– Да, почему?.. – присоединился ко мне подошедший Жора.

– Потому что, – отвечала Оля, напряженно припоминая, – бродяг сейчас приучают жить на одном месте. Они не промышляют больше браконьерством, занимаются полезным трудом и ведут оседлую жизнь. Вот. Я читала. А кто кочевал и попрошайничал, переселяются теперь из кибиток в просторные дома. И должны трудиться.

– Ну и что? И что?.. Что из этого? – несолидно закричал я.

Ведь Саша-то никогда не кочевал и не бездельничал. Он хорошо учился и определенно не промышлял браконьерством. (Более того: Жора сказал, что и Сашин дед тоже не промышлял браконьерством.) Но допустим даже, что Сашины предки были бездельники и браконьеры, – разве из-за этого мы изменили бы отношение к Саше?..

Все это мы с Жорой запальчиво и вперевод выложили Оле.

Каждое возражение Жора бросал с такой горячностью, точно врезался очертя голову в неразбериху драки. Но Оля стояла на своем.

– Ты не понимаешь, Масленников, – сказала Оля досадливо. Из нас троих она одна не повышала голоса.

– Не понимаю? Чего не понимаю? – осведомился Жора со свирепой пытливостью.

– А того, что, если у человека в крови – он сам сказал! – инстинкт такой – странствовать, значит, его надо научить сидеть на одном месте!

– Выходит, если, допустим, у тебя мечта рисовать, надо у тебя, Бойко, отобрать краски? Так выходит? – язвительно спросил Жора.

– Они должны оседлыми быть, – упрямо повторила Оля. – И, может, даже на будущий год незачем, ребята, Тростянскому путешествовать, – добавила она озабоченно. – То есть зимою, в воображаемом путешествии он может участвовать, но...

В это время к нам подбежал сам Саша, которого живо заинтересовало, кто должен быть оседлым и по какой причине его не возьмут в путешествие и в будущем году.

Оля повернулась к нему, готовая, видимо, это растолковать, но Жора взглянул на нее так, что она, как пишут в подобных случаях, прикусила язык. Затем, восклицая: «Нам нужен арбитр. Сашка, это, слово даю, тебя не касается!» – Жора потащил Олю к Прокофию Семеновичу.

Но Прокофий Семенович уже объявлял, что вечер рассказов участников путешествия продолжается. Решение спора откладывалось примерно на час. И это было очень неприятно.

Меня не волновало, что Прокофий Семенович признает Олю правой. Я знал заранее, что он не может ее поддержать. Но нехорошо было, что Оля еще на целый час останется в заблуждении. И волновало, что Оля могла так ошибиться. Как она просто решила Сашину судьбу: в настоящее путешествие не надо ему пускаться, в воображаемое – можно.

Я не сомневался, что Прокофий Семенович сумеет объяснить Оле ее неправоту. Конечно, она поймет, что была неправа, вслух скажет об этом... И все-таки я чувствовал, что уже не буду так смотреть на Олю и так мечтать о ней, как тогда вечером, в салоне парходика, плывшего из Керчи в Феодосию. Это было лишь две недели назад...

Когда вечер окончился, Прокофий Семенович рассудил наш спор и, как мы ожидали, объявил Оле, что она заблуждается. Не надо смешивать бродяг и путешественников. После года хорошей работы или успешного учения каждый человек вправе провести отпуск или каникулы в путешествии. Это ни в коем случае не может вызвать нареканий. Прокофий Семенович снова подтвердил, что в будущем году обязательно возьмет Сашу в путешествие.

И действительно, дело к этому шло. Хотя в новом году Саша учился неровно – по литературе, истории и географии на «отлично», а по другим предметам иногда и на «посредственно» (по выражению педагогов, у него проявились специальные способности), Прокофий Семенович и наш директор считали, что он достоин принять участие в очередном походе исторического кружка.

В начале июня вопрос решился окончательно.

А 22 июня началась война. И в самые первые дни войны, когда уходил на фронт мой отец, когда заговорили уже об эвакуации детей из Москвы на восток, когда все, что занимало меня до 22 июня, стало и очень давним и совсем неважным, – в те дни я успел все-таки подумать однажды: «...и путешествие не состоится. Какая жалость!.. Не придется Саше странствовать».

В октябре 41 года в интернат на берегу реки Белой, где я оказался к тому времени, пришло письмо от Прокофия Семеновича. До этого я получал письма лишь от мамы. В этих письмах не было ни слова о наших школьных ребятах.

И вот – письмо от Прокофия Семеновича, толстое, в настоящем, довоенном еще, наверно, конверте (а мама, как почти все тогда, складывала свои письма треугольниками) с выведенным крупно и твердо словом «Москва» внизу.

Прокофий Семенович писал, что узнал мой адрес у мамы, с которой говорил по телефону, и дальше рассказывал о наших ребятах, «юных историках». Все они – кто раньше, кто чуть позже – пустились в дальние и печальные странствия. Жора Масленников уехал в Новосибирск и живет там у тетки. Оля Бойко – в Ташкенте, куда она добиралась эшелонам чуть ли не две недели. Некоторые ребята были эвакуированы не так далеко – в Саратов, в Куйбышев. А Саша Тростянский оказался оседлым москвичом – он не уехал никуда.

«До вчерашнего дня, – писал Прокофий Семенович, – мы с Сашей виделись почти каждый день, так как оба дежурили на крыше школы во время налетов, которые никого в Москве уже не пугают, но мешают выспаться. Только вчера Саша добился в райкоме комсомола того, что его послали на рытье укреплений. Это близко...»

Действительно, укрепления тогда строили под самой Москвой. Весть о том, что в этом участвует Саша, очень взволновала меня. И мое положение пятнадцатилетнего москвича, живущего на всем готовом вдалеке от родного города, к которому приближается Гитлер, показалось мне вдруг неловким и даже стыдным...

А неделей позже до интерната дошел страшный слух: в прифронтовой полосе, во время бомбежки, убит Саша Тростянский.

Я не хотел тогда верить, что это правда. И не верил до 44 года, когда уже в Москве, в нашей школе, увидел его фотографию на большом стенде. Фотография была без траурной рамки, но весь стенд посвящался памяти бывших учеников и выпускников, погибших в боях с фашистами... Я смотрел на стенд и медленно понимал, что Саша уже не просто прошлое школы – он ее история. Было странно и больно. И еще – горько, потому что за короткую жизнь он увидел меньше, чем мог бы.